

# «Анархистское государство»

Подпольная большевистская организация города Александровска появлением махновцев, прорвавшихся из-под Умани, была шокирована, наверно, не меньше, чем белые власти. До появления махновцев группа большевиков затаилась и проявляла себя сравнительно скромно. Евгений Петрович Орлов – в ту пору просто Женя Орлов, романтический семнадцатилетний мальчик, – глубоким уже стариком, сидя в моей квартире за чашкой крепкого кофе, тем не менее вспоминал 1919 год с трепетом: тогда он только еще входил в круг серьезных, взрослых дел, заражался лихорадкой политической борьбы и азартом конспиративной жизни. И он вспоминал, словно о событии чрезвычайной важности, как по рекомендации подруги в городском саду он был представлен странному человеку, проживавшему в городе под именем французского дворянина де Лави – чесучовый пиджак, белые брюки, соломенная шляпа, остренькая бородка а-ля Анатоль Франс, тросточка. Оказалось, что француз на самом деле не француз, а большевик, причем однофамилец, Андрей Орлов. Но тогда круг превращений еще не замкнулся, и Андрей Орлов дал Жене Орлову задание: пойти к портному Семену Новицкому и спросить: «Альберт приехал?» А когда он исполнил поручение и передал ответ: «нет, он еще задержался» – рассказал о тайной партийной явке в гостиничке «Париж» у Шоя Андриенко («Париж» был заштатным заведением, где ночевали обычно проститутки и извозчики), о планах убить начальника городской деникинской контрразведки Григорьева и его помощника Продайко, о доставке прокламаций и подпольной газетки «Молот» из Екатеринослава. За «Молотом» Женя Орлов ездил вместе с Андреем Орловым, а потом отчаянные молодые ребята эти газетки расклеивали. Был такой сорвиголова Емелька Казанцев, любил риск – и «Молотом» припечатывал портреты Деникина и Шкуро возле театра «Модерн». А Коля Сагайдак развозил прокламации по деревням – он деревню знал хорошо: отец его, податной инспектор, был крестьянами убит, и сын, видно, посчитал, что правильно, – раз возил прокламации...

И все это длилось, пока в одну прекрасную ночь на весь город не грянул взрыв, и не загорелось здание городской тюрьмы, и после редких выстрелов темные еще улицы не заполнились звуком цокающих копыт. Наутро изумленные жители узнали, что город занят махновцами, и, как во сне, поплыли видения: всадники в папах и свитках, тачанки; в красной черкеске с белым башлыком, на чудном гнедом коне с белыми чулками – Михаил Полонский, назначенный начальником гарнизона; тонкой, почти девичьей, но одновременно жестокой красой красивый Федя Щусь, с завитою шевелюрой, командир кавалерии; плотный, рыжий, улыбчивый Левка Задов; жена Махно Галина Андреевна, как-то раз показавшаяся на улицах в шикарном английском ландо, обитом сукном небесного цвета...

Мы сидели с Евгением Петровичем у меня дома 15 марта 1989 года: он горячо вспоминал, а я слушал, мучаясь от невозможности представить себе то, что так явственно стояло перед глазами моего визави, на 58 лет опередившего меня во времени. И я задавал вопросы из своего времени, а он, естественно, отвечал из своего – и поэтому, если что и выяснялось, то какая-то куцая, сиюминутная правда, которой, в общем-то, небольшая цена.

– Были ли грабежи?

– Нет, грабежей не было. Был приказ: за грабежи – расстрел. Я как-то раз шел из дома и неподалеку от штаба Махно смотрю: два трупа лежат, народ толпится. Что такое? Да вот, говорят, сам Махно расстрелял за грабежи...

Так что же, совсем не грабили? Н. Герасименко (которому, правда, верить нельзя из-за фантастических домыслов, пронизывающих всю его книгу) утверждает вот, что Бердянск пограбили основательно: не успела еще смолкнуть над городом канонада и не затонул в порту, перевернувшись при повороте, переполненный спасающимися офицерами катер «Екатеринославец», как город заполнили сотни подвод, на которых крестьяне из ближних и дальних деревень вывозили все, что попадалось в магазинах и на складах, вплоть до оружия и английского обмундирования.

Такой эпизод возможен. Но Бердянск был периферией махновии; махновцы чувствовали, что город им долго не удержать, поэтому и пустили «своим» пограбить. Да и для армии военные склады денкинцев были богатым трофеем. В центре порядок был другой, хотя и тут без эксцессов не обходилось. И. Гутман рассказывает забавный эпизод, как какой-то махновец долго кланчил у прохожих себе штаны, а потом, не выдержав, остановил первого встречного и снял с него брюки. Сбросив свои отрепья, солдат рассмеялся: «Вот так давно бы! А то уже у шести просил: дайте, пожалуйста, штаны, совсем обносился. Все говорят: нет лишних. А вот теперь нашлись. Нам батько Махно запрещает грабить. „Ежели, говорит, тебе что нужно, – возьми, но не больше“. Ну, а мне больше и не надо» (40, 187).

Историки советского времени из любого эпизода делали в отношении махновцев далеко идущие выводы. Для нас теперь, по счастью, все иначе. Ну, просил человек штаны – и все. Что это значит в политическом, этическом и классовом смыслах? Да прежде всего то, что собственные штаны его были рваные. Поэтому, слушая Е. П. Орлова, я об одном только сожалел – что не могу прорваться воображением туда, в тот Александровск, столь не похожий на современное индустриальное Запорожье, в ту осень, увидеть тех людей и то, что происходило с ними. По счастью, я перестал докучать своему собеседнику дурацкими вопросами, и он стал вспоминать, вспоминать... Вот как, например, в первое утро после занятия махновцами города большевики-подпольщики собрались на явке в «Париже» и недоумевали – что им теперь при махновцах делать? Ибо в последний раз Махно проходил через Александровск объявленный вне закона товарищем Троцким... И как понять, сколько людей у него? И надолго ли они пришли? И так гадали, пока щеголеватый Андрей Орлов, он же француз де Лави, не вышел из оцепенения и не велел:

– Значит, сейчас, Женя, бери ребят, беги в контрразведку, и тащите бумаги сюда...

И как эти мальчишки побежали в деникинский ОСВАГ, еще не тронутый махновцами, но почему-то уже разгромленный («бумаги лежали на полу грудами»), и, нахватав целые кипы этих бумаг, побежали обратно в «Париж», боясь махновцев, и по дороге Женя Орлов увидел и узнал почему-то застрявшего в городе белого офицера: он шел в штатском платье, белый офицер, бледный, как полотно. И они разминулись, боясь махновцев...

Если Андрей Орлов, он же француз, действительно был провокатором Добрармии, то он первым делом послал мальчишек в контрразведку не случайно: представьте это себе, и вы тут же ощутите настроение этого тревожного утра, и сюда же еще приплюсуется белый офицер – слишком бледный, чтобы не выломиться из тьмы прошлого и не сделаться вдруг понятным. Понятен страх его, человеческий страх быть грубо и жестоко умерщвленным: ведь уже были вывешены приказы коменданта города Каретникова и начальника гарнизона Полонского о явке с повинной всех деникинских офицеров, но он, этот переодетый в штатское поручик или капитан, не верил в милосердие победителей и, возможно, правильно не верил. Если Герасименко не врет, в Бердянске махновцы платили уличным мальчишкам по сто рублей за каждого обнаруженного офицера или пристава, которых тут же, на глазах у мальчишек, приканчивали. В Екатеринославе не тронули деникинских раненых в госпиталях, но офицеров расстреляли на берегу Днепра. Тут как со штанами – время было такое... Нельзя было иначе.

В остальном представить себе, что за жизнь была при Махно, довольно трудно. Забавная жизнь. Читая Аршинова и Волина, легко увлечешься вольнолюбивыми декларациями Реввоенсовета Повстанческой армии и заблудиться в словах о народовластии и свободе. Но что такое «народовластие»? Что такое «свобода»? Чтобы понять это, необходим образ, который наполнил бы реальным содержанием эти замусоленные до грязи и по сути уже ничего не выражающие слова. Один такой образ подарила мне Екатерина Николаевна Шафранова (письмо от 27 февраля 1989 года). Она пишет: «Мне было 12-13 лет, я жила в Александровске в семье дяди, преподавателя Александровского технического училища Константина Николаевича Трофимова, училась вместе с его дочерью Аней в женской гимназии...

Заняв Александровск, Махно отдал приказ учебным заведениям представить списки детей преподавателей. Никто не знал, для чего это нужно, в страшной тревоге за детей все советовались, совещались, но в конце концов список был составлен. Утаить кого-нибудь было нельзя – везде могли найтись недруги, которые напишут донос. Со списком справились, трепеща от страха.

Результат оказался совершенно неожиданным: Махно распорядился выдать по списку материю на платье. Не помню, что получили мальчишки, но нам с сестрой достался материал на платье и еще на юбку и блузку...»

Представьте, как трепетали родители за жизнь детей, когда после красных и белых, григорьевцев и петлюровцев Махно истребовал списки. Как должны были бояться доноса, чтобы выдать ему своих детей... И каково, в результате, было удивление? Впервые власти дали обнищавшему населению хоть что-то... Боже мой! Какие странные повороты судеб и истории!

Рассказ о пике махновщины, о махновской республике, образовавшейся осенью 1919 года в излучине Днепра, должен был бы, наверное, начинаться не с таких вот вольных наблюдений, а с какого-нибудь обобщения – скажем, с очерка по истории социалистических утопий. И тогда, конечно, нужно вспомнить и Запорожскую Сечь, и пиратские республики и братства на островах Карибского моря и в дельте Миссисипи, и колонии иезуитов в Америке, и так далее – вплоть до коммун хиппи и «новых левых», которые со временем превратились в обычные кооперативы и в таком виде, или в виде сквотов, с радиостанцией для «независимого вещания», существуют до сих пор. Республичка махновцев просуществовала всего около двух месяцев, но в ней обнаружились не только курьез, но и урок человечеству. Мы должны попытаться понять, почему великая бюрократическая утопия большевиков подмяла под себя и поглотила маленькую дикорастущую утопию махновцев. Как бюрократы в очередной раз оказались сильнее бунтарей, которые в конечном счете не смогли противопоставить наступлению формирующейся системы ничего, кроме древнего демократического права казацкого круга – назовем этот круг «вольными советами», – которые, разумеется, формирующаяся тоталитарная власть принять не могла.

Вот теперь минуя Платона и прочих древних с их «идеальными республиками», совершив все же краткий обзор политического утопизма, который, в отличие от мифологии и религии с их образно-метафорическими представлениями о царстве Добра, ищет разрешения драматических противоречий действительности в создании некой политически безупречной организации, которая бы обеспечила счастье если не поголовно каждому, то уж, во всяком случае, гигантскому большинству людей.

Кампанелла и Томас Мор дали известнейшие описания таких общественных устройств, продемонстрировав заодно, сколь ограничены возможности индивидуального человеческого разума: читая «Утопию» или «Город солнца», нельзя не поразиться, насколько плоска и мелочно регламентирована жизнь в этих идеальных государствах, насколько нивелирована (или просто еще не выявлена?) в них личность. Но сколь бы ни были схоластичны их писания, в которых все страстное, мистическое, все не поддающееся бухгалтерскому учету в человеке игнорировалось – и сам этот человек, по мнению авторов, существо исключительно мозговое, рациональное (хотя это опровергалось всей человеческой историей и литературой от Гомера до Шекспира), был отдан во власть Идеального Государства. Эта хилая, нездоровая литературная традиция обрела новую кровь и дальнейшее развитие во времена французского Просвещения. Разум искусил блистательных французов идеей переустройства мира по своим законам (они казались открытыми), сообразно предписаниям Природы (они считались известными), и это казалось столь же естественным и осуществимым делом, как преобразование ландшафта по законам парковой архитектуры с необходимыми в этой архитектуре аллеями, шпалерами, беседками, водопадами и буленгринами. Отцы «Энциклопедии», в частности Дидро, дали новый толчок к изобретательству в области общественного устройства. Основным принципом такового виделось равенство, причем не только равенство в правах, а равенство имущественное, или даже отсутствие личного имущества. Из подобного равенства вытекали некая общая размеренность и направленность жизни, общий труд, стремление к разумному идеалу, в котором материальный достаток сочетался бы с гармоническим развитием личности. Бесконечные вариации этой темы мы встречаем у аббата Габриэля Бонно де Мабли, считавшегося в XVIII веке в Париже большим авторитетом в вопросах политики и морали, и у

Морелли, который сам по себе является загадкой. До сих пор, например, неясно, в самом ли деле он опубликовал в 1755 году в Амстердаме свое главное произведение – «Кодекс природы, или Истинный дух ее законов», – или же «Морелли» – не более чем литературный псевдоним, которым прикрылся кто-то из первых умов эпохи Просвещения. «Кодекс природы» требовал от человека принятия трех основных законов: первый из них отменял частную собственность, второй гарантировал каждому право на труд и на содержание, третий обязывал каждого заниматься общественно полезным трудом...

Все это вновь и вновь варьируется затем у Бабёфа и его последователей и, наконец, у Сен-Симона и Фурье. И хотя поражение революции 1848 года в Европе заставило говорить о «крахе социализма» или, во всяком случае (это отметил Бакунин), о зловредности всякого социалистического доктринерства – на протяжении всего XIX века не прекращались попытки дать возможно более точное и подробное описание «идеального государства».

Отношение к ним свысока недостойно: в копилку человеческой мысли утописты привнесли немало ценного – от экологически оправданной идеи скромного, без излишеств, потребления природных ресурсов до программ социального страхования, формулы акционерных предприятий и выраженной в новых терминах идеи человеческого братства и солидарности. Однако, отметим, именно это казалось наименее ценным ультрареволюционерам конца XIX – начала XX веков.

В России народная традиция, потянувшаяся сначала еще от казачества и старообрядцев, стяжания себе на земле райской жизни не путем преобразования государства, а путем максимального удаления от него, естественным образом подталкивала теоретиков русского революционного движения видеть будущее коммунистическое общество как общество без государства, общество анархическое. Не случайно автором одного из наиболее крупных русских утопических манифестов стал «апостол анархии» – князь П. А. Кропоткин. Сегодня, читая его доклад об идеале будущего строя, с которым он выступил на заседании кружка «чайковцев» в 1873 году, понимаешь, что такой идеал мог вырваться только в голове революционера молодого, сравнительно мало еще искушенного в науках, не побывавшего ни разу в Европе и к тому же добровольно принявшего идеалы и даже предрассудки экономически очень мало развитого народа за идеалы будущего строя. У Кропоткина было одно несомненное оправдание – как бы экономически или политически мало ни был развит русский народ, от своего государства он ведал только одно: рекрутчину, самодурство чиновников и самое презрительное к себе отношение. Честное слово, не знаю – у кого бы в России хватило бы духу написать об «идеальном государстве»! Оказавшись потом во Франции и Англии, занявшись всерьез историей и социологией, Кропоткин никогда более не возвращался к политическим крайностям своего трактата, а после Октября и подавно – некоторые свои политические императивы (например, равенство в праве на труд и в труде, в способах образования, в общественных правах и обязанностях) пытался из политической плоскости перевести в план, так сказать, моральный. Равенство в труде во времена революции обернулось бесконечными издевательствами над «буржуями», а отрицание «привилегированного труда» – уравниловкой и даже репрессиями. Сам Кропоткин, поселившийся в Дмитрове, для местного совдепа был очень сомнительной фигурой: «старым князем» с неясными революционными заслугами, занятым почти непрерывно «привилегированным трудом»... Ведь он писал свою «Этику»!

Кропоткин, впрочем, уже в 1873 году понимал, что подробное описание идеального жизнеустройства бессмысленно и бесполезно, и оговаривался, что все сказанное рисует идеал будущего строя лишь в самых общих контурах, прочертить и расцветить которые должна сама жизнь в ходе своего революционного переустройства.

Жизнь, как ей и положено, внесла свои коррективы. Некоторые пункты «записки» – в России большевиков так же, как и в махновской республике, – оказались воплощенными в действительность поистине с пародийной буквальностью. Особенно это касалось переделов имущества, квартир, капиталов «в звонкой монете и ценных вещах». Махновцы сразу изъяли деньги из банков и конфисковали имущество ломбардов, куда население запрятало его от деникинцев: в Екатеринославе, судя по неоднократным упоминаниям, партизанские вожаки щеголяли с золотыми цепочками на шеях и браслетами на руках. Махновская казна и далее пополнялась почти исключительно за счет «контрибуций». На александровскую буржуазию, например, была наложена контрибуция в 50 миллионов рублей – но, видно, и буржуазия была доведена войной до истощения, ибо даже скорым на расправу партизанам удалось собрать лишь 7 миллионов. В Екатеринославе из 50 миллионов собрали 10, в Бердянске из 25–15, в Никополе 8 из 15.

«Мероприятия» махновщины кажутся поистине доведенным до крайности революционным варварством. Это, конечно, так. Однако, оказавшись перед необходимостью управлять сравнительно обширной территорией и, следовательно, налаживать снабжение, финансы, городское хозяйство и т. д., махновцы пошли не дальше большевиков и точь-в-точь повторили их опыт 1917–1918 годов, когда большевизм был молод, зелен, горяч и утверждал свою власть при помощи штыка и контрибуций.

Тут еще раз вспомним, что махновская республичка просуществовала-то всего два месяца в кольце фронтов. За это время ни одна – ни белая, ни красная, ни какая-либо другая – власть ничего не успевала наладить. Вспомним Москву в декабре 1917-го, через полтора месяца после октябрьского переворота: это израненный, одичавший, голодный город. А Ярославль? А Самара? А Саратов? Я бы эту тему предпочел вообще не трогать. Если бы Махно продержался подольше – и при нем, можно не сомневаться, тоже все как-нибудь устроилось бы. Трудно, конечно, ожидать, что махновские власти в управлении городом проявили бы вдумчивость и компетентность земских городских дум, занимавшихся городским самоуправлением до Октября. Но что подделаешь! Дело партизана – сражаться и погибать, тяжкое бремя власти пригнетает и унижает воина, тогда как битва в вольном поле и своевременная гибель запечатлеваются навеки в памяти потомков.

Забытый ныне писатель Ефим Зозуля в одном из своих рассказов блистательно описал, как входит в украинское местечко партизанский отряд: рассыпанный строй «грязных, лишаистых, пыльных людей, обветренных, оборванных, обвешанных рыжими, облезлыми винтовками, ножами и бомбами» (23, 59). И описал ужас обитателей местечка перед этой неведомой силой, и жизнь, наполненную будничными заботами и обычными страхами простого трудящегося человека перед нелепыми жестокостями войны.

Читая Зозулю, мы можем представить себе, как входили в украинские местечки махновцы – точь-в-точь такие, какими описал их писатель, как шли они к центру, выбирали себе

получше дома... Ну а дальше что? Что – непременно? Развешивали объявления. Декреты новой власти. Потом – конфисковывали какую-нибудь типографию и начинали печатать газеты.

Газетка «Вольный Бердянск», случайно уцелевшая в одном из архивов Запорожья, сохранила для нас подробности взятия Бердянска:

«...Для занятия города были посланы части 2-го Азовского корпуса во главе с командиром т. Вдовиченко... В полночь на 12 октября наши части подошли к Бердянску версты на две, но неприятель открыл по ним ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, ввиду чего Новоспасовский полк окопался и утром, около пяти часов, вместе с другими частями и во главе с командиром тов. Гончаренко, занял город.

Деникинские банды пытались... спастись, но нашим пулеметным огнем они почти все были уничтожены. В городе и окрестностях нами было изрублено около 600 офицеров и сдались 900 чел. мобилизованных...

По вступлении наших частей в город немедленно были освобождены заключенные из тюрем, но, к великому огорчению, палачи успели до нашего прихода совершить тяжкое злодеяние и в последнюю ночь расстрелять 200 заключенных.

До чего велик был энтузиазм повстанцев при взятии города, показывает тот факт, что сестра милосердия Новоспасовского полка тов. Митранова, находясь все время в передовой цепи и будучи ранена, не отставала и с громким криком „вперед“ приближалась к городу, пока не была вторично ранена, но и тогда без посторонней помощи вошла в город.

Так бороться и умирать за революцию могут лишь вольные повстанцы и подлинные дети труда. И взятие Бердянска останется одной из самых красивых страниц в истории революционной повстанческой борьбы махновцев...» (13, 21 октября 1919 г.).

Так что же правда – грабеж или геройство, порыв трудовых масс к новой жизни или гарцующие в золотых цепочках партизанские батьки? А все было, все правда. И энтузиазм рабочих – правда, и безвкусная газетная трескотня – тоже правда: «...Задали такую баню золотопогонникам, что тем приходилось вешаться на собственных подтяжках или стреляться из наганов, или наконец травиться цианистым калием, чтобы не попасть в руки „озверелого мужичья“...» Вы заметили, автору кажется, что он рассказывает очень веселые вещи... Были митинги. Был рынок, базар, барахолка. Ходили любые деньги. Поскольку с февраля 1917-го на Украине сменилось по крайней мере шесть различных властей, каждая из которых расплачивалась с населением (и с крестьянами прежде всего) своими дензнаками, махновцы разрешили на контролируемой ими территории хождение всякой валюты: царского и советского рубля, петлюровского карбованца, денег деникинских и донских. Почему-то советские историки считали это вопиющей беспринципностью. Следует признать прямо противоположное: в условиях бесконечной смены режимов хождение разной валюты было единственной мерой, которая позволяла выжить издерганному и обнищавшему населению и наладить хоть какой-то товарооборот. Естественно, что курс всех этих карбованцев и рублей был разный и постоянно менялся: например, неудачи белых

под Курском и наступление красных на Орел резко повысили курс советского рубля.

Как об историческом курьезе стоит упомянуть о том, что много позднее, когда махновцы вновь превратились в рейдирующий по степям Украины партизанский отряд, они выпустили свои шутовские деньги: белые листы бумаги с ладонь величиной, на которых от руки была начертана сумма – 25 или 100 рублей, – и надпись: «чем наши хуже ваших?». Несколько таких денег вместе с двадцатью бутылками вина, пятью кольцами колбасы и тремя фунтами керенок получили актеры цирковой труппы, в которой выступал Иван Поддубный – после того как знаменитый борец, вместе с другими циркачами снятый махновцами с поезда, в короткой показательной схватке осилил и положил на обе лопатки какого-то здоровенного хлопца из батькиной свиты. Ни в одной из биографий Поддубного об этом не упоминается, и, разумеется, к этому сообщению можно было бы отнестись с подозрением, как и к свидетелю, о нем поведавшему (Петр Тарахно в книге «Жизнь клоуна»), да, по правде сказать, я не вижу повода сомневаться. Все в духе времени, в духе народа, заселяющего эту бескрайнюю степь. И культурологическая параллель из Гоголя мгновенно подыщется, стоит лишь перечитать главку из «Тараса Бульбы» о приезде Тараса с сыновьями в Сечь – про вольную жизнь бесшабашных воинов и грабителей, про золото и парчу, что разметывались ими в шинках, про дикую и неудержимую веселость ото всякой мирской обязанности освободившегося казака, про презрение его к награбленным дукатам и реалам и даже к самой жизни, которая до смертного боя проходила в забвении пиров и неистового товарищества... Как похоже, как узнаваемо! Люди войны и грабежа, запорожцы не знали скупости – чувства слабого накопителя и торгаша. Так же и махновцы: нахватав в свои руки богатства, они тут же устраивали раздачу его. Известно, что в Екатеринославе батька проводил показательные приемы: чтобы получить вспомоществование, нуждающиеся должны были убедительно рассказать о своей нужде. Махно выслушивал, брал жменю денег, насыпал кому пригоршню, кому шапку. Иногда милость его изливалась совершенно необъяснимым образом. Так, однажды, когда уже начался в рядах армии голод, он вызвал к себе заведующего провиантскими складами Екатеринослава, бывшего члена городской думы Илью Идашкина, и велел из городских запасов выдать продукты на фронт. Илья Яковлевич махновцев не любил. По образованию он был юрист, знал семь языков, до революции считался блестящим адвокатом и, будучи, следовательно, человеком интеллигентным, власть голытьбы презирал. Мужество, однако, не оставило его, и он отвечал, как думал:

– Если я выдам продукты армии, то пострадает население города.

Махно внимательнее взгляделся в лицо крупного, костистого мужчины еврейской наружности, пытаясь понять, что заставляет того говорить правду, а не лебезить перед ним, батькой.

– Пострадает, говоришь, население?

– Пострадает.

Илью Яковлевича вдруг отпустили с Богом; по пути, правда, завели в какую-то комнату и одарили меховой шубой (очевидно, «реквизированной» из ломбарда – вся комната была



завалена шубами), и, хотя Идашкин в глубине души не сомневался, что и шуба – только уловка, чтобы его расстрелять, – его не тронули, а выпроводили прочь с дорогим подарком на плечах. И сам Илья Яковлевич, и семья его не пострадали в Гражданскую, пережили полосу сталинских репрессий, но в Отечественную сын и жена его были расстреляны немцами, как евреи.

Не менее удивительно – в связи с визитом к Махно – сложилась судьба Марии Александровны Фортус, знаменитой впоследствии разведчицы, которая в результате этого визита чуть не лишилась жизни. Мария Фортус, тогда очень еще молоденькая девушка, работала в большевистском подполье Екатеринослава. Тут надо сказать, что с приходом махновцев деятельность всех левых партий советской ориентации была легализована, в Екатеринославе выходила коммунистическая газета «Звезда», но этого большевикам было мало. По-видимому, они несколько раз предлагали махновской верхушке поделить власть, но Реввоенсовет махновцев на уговоры не поддавался, отвечая, что народ сам определит своих избранников и навязываться в начальники нехорошо. Такая позиция большевиков не устраивала, и во всех городах партизанского района помимо «легалов» действовали еще подпольные группы, которые по-своему готовились встретить разгром деникинцев. Понятно, что для деятельности подпольщиков нужны были деньги. Взять их, однако, было неоткуда, и тогда решено было попользоваться объедками с махновского стола. Невинная наружность и личное бесстрашие Марии Фортус повлияли на выбор подпольщиков – ее обрядили в платье с глухим воротничком и, зная особое расположение Махно к учителям, велели идти к батьке и просить за учительство.

Мария Фортус все выполнила в точности.

Махно оглядел ее и якобы обронил:

– Ось яка гарнесенька!

И денег дал.

Жена Махно, Галина Андреевна, запомнила это. Спустя несколько месяцев она опознала екатеринославскую «учителку» среди медсестер в одном из махновских отрядов и – то ли верно угадав в ней шпионку, то ли чисто по бабской ревности, – велела расстрелять. Ослушаться слова «матушки Галины» никто не смел. Но и сестричку Марию в отряде любили. Ее расстреляли – пуля пробила плечо, – но добивать не стали. Все это немного похоже на сказку, но все это было лишь преддверием к тем поистине волшебным приключениям, которые суждено было пережить Марии Фортус в республиканской Испании и в фашистском тылу 1945 года.

И все-таки, чуть призадумавшись, мы поймем, что не батькины приемы и не декларации Реввоенсовета армии наполняли пульс жизни в махновской республике. Это было что-то другое – обыденность, повседневность. То, что люди влюблялись, рожали детей посреди этого адища. То, что они находили силы для горя и для веселья. То, что они, наконец, работали. В этом – великая инерция выживания человеческой породы, великий природный оптимизм. Именно в том, что покуда один занят «грандиозными» вопросами революции и

войны, другой просто работает – железнодорожником, учителем, кузнецом – и исправляет покалеченное войной, и приумножает количество неиспорченного и нужного людям материала.

Как странно, что Ленин, именно в 1919 году написавший работу «Великий почин» по поводу коммунистических субботников, увидел в самом порыве труда, бросившем московских железнодорожников на ремонт паровозов, что-то доселе невиданное («коммунистическое отношение к труду», позже выродившееся в нудную пропагандистскую кампанию), а не естественное желание каждого человека навести порядок в своем донельзя загаженном и запустелом дому...

Увидел «новое» там, где было просто здоровое, добротное отношение к труду людей, еще не развращенных войной до конца и испытывающих тоску и мерзость при виде окружающего их запустения. Через год после этого, 1 мая 1920 года, и в Кремле пришла мысль впервые после 1917 года убратся, и вождь мирового пролетариата даже поднял на Драгунском плацу историческое бревно вместе с комиссаром пулеметных курсов И. Борисовым. Но для Ленина даже и субботник в Кремле был своего рода агиткой – он поверил в свое коммунистическое отношение к труду и захотел, чтобы так было везде. Агитационный характер кремлевского субботника подчеркивается, например, тем, что на плацу вождя снимал фотоаппаратом кинооператор А. Левицкий, после чего Ленин, взяв с собою самого молодого участника субботника – одиннадцатилетнего Володю Стеклова, поехал на закладку памятника Карлу Марксу.

Однако будем беспристрастны и признаем, что для человека, не выбитого окончательно из колеи, неестественно разрушать. Ничего такого уж нового тут нет. И, кстати, еще Энгельс отметил, что труд – это «нечто бесконечно большее», чем просто источник богатства. А Кропоткин «художественную» потребность, потребность в творческом труде ставил сразу вслед за потребностями физиологическими: «Жизнь может поддерживаться, лишь расточаясь...» (39, 311).

Мировая война и нестабильность политической ситуации 1917 года лишили труд очень многих людей не только плодов, но и смысла. Это вызвало раздражение и бурный выброс агрессии. Не здесь ли коренится одно из объяснений тому, почему вспыхнула Гражданская война?

...Говоря о махновском «государстве», образовавшемся в конце 1919 года, я, увлекшись рассказом, так и не очертил его границ, так что читателю, по вине автора, трудновато представить, где оно, собственно говоря, находилось. Как уже понятно было из нашего рассказа, в октябре 1919-го махновцы в своем неостановимом движении с запада на восток достигли Гуляй-Поля, Бердянска и даже Мариуполя. Но оттуда их скоро вытеснили белые. Они заняли обширный район на правом берегу Днепра, который служил как бы естественной водной границей республики, – там, где река, словно лук, выгибается дугой на восток. На вершине этой излучины – Екатеринослав, в центре – Александровск, внизу – Никополь. «Тетивой» был фронт, выставленный махновцами по линии Пятихатки—Кривой Рог, фланги которого также замыкались на Днепр. Вот в этих-то границах и существовал партизанский район Махно.

До того как Махно взял Екатеринослав, центром политической жизни республички был Александровск – тот самый Александровск, который мы опрометчиво покинули, так и не дослушав интереснейший рассказ Е. П. Орлова. Помню, я спросил его:

– А при Махно заводы работали? Он даже удивился:

– Конечно, работали!

– А когда лучше работали – при Махно или при белых?

– При белых-то вообще заводы лучше работали. При белых вернулись те же заводчики, что были и раньше. А при Махно пошло хуже. Вообще, люди потеряли перспективу, жили сегодняшним днем: сегодня белые, завтра красные, потом махновцы, потом еще кто-нибудь будет...

– А как восприняла приход Махно интеллигенция?

– Никак. Отец никак не воспринял, по крайней мере. Он был учитель, правый эсер, одно время был членом совета рабочих и солдатских депутатов. Читал Бакунина, Кропоткина, но Махно не считал идейным анархистом. Для него Махно был повстанец – вот и все.

– А на вашей коммунистической организации как приход махновцев сказался?

– А вот это самое интересное. Когда сколько-то времени прошло и мы поняли, что махновцы надолго, мы решили, что надо как-то определиться. Гришута сказал: значит, товарищи, у меня есть такое предложение – в «Париже» явку не открывать, а пусть боевики во главе с Женей Орловым организуют «Союз молодежи по борьбе с контрреволюцией». Как бы беспартийный. Для прикрытия.

Ну, мы пошли. На улице Соборной был дом контрразведчика деникинского Продайко. Его отец домовладелец был. Дом взяли себе анархисты. На двери – клочок бумажки. Написано: «Здесь помещается александровская группа анархистов „Набат“». В этой организации был мой знакомый, реалист, не помню фамилии сейчас его. В реальном училище сильная анархистская пропаганда была, он был анархист рьяный. Выслушал меня, усмехается: «Ну что у тебя, Женька, за секреты...» Я говорю: «Пусть будет союз социалистической молодежи. Всякой. И анархисты там...» Ведь наш Колька Сагайдак, он подвержен был влиянию анархизма. И Фурманов, вы знаете, тоже был... Ну вот, этот мой знакомый отвел меня к Волину.

Волин говорит: «Регистрироваться хотите? А зачем вас регистрировать? Работайте...»

Мы попросили бывший дом Гуревича, где был деникинский ОСВАГ. Там было три комнаты, одна большая. Потом еще Зинченко, начальник снабжения махновской армии, нам отдал помещение бывшего помещика Коробцова для клуба молодежи. Это мне сослужило хорошую службу потом... И вот – под нашей вывеской коммунисты все собирались...

Конечно, эксцессы случались всякие. Однажды тревога была, часов в десять, наверное, вечера. Мы с Колей Сагайдаком выбежали на улицу с пистолетами... Мы пистолеты за деньги покупали на толчке. Неплохо были вооружены: браунинги были, даже винтовки. И нас с этими пистолетами махновцы схватили. И повели к Каретнику, коменданту города. Он на нас: «Кто такие?» – «Да вот, социалистическая молодежь», – говорим. – «Вы – белогвардейцы!» – «Да что вы...» – «У-у, мать-перемать! Снимай штаны!»

Я замешкался.

«Тьфу! – плюнул, ушел. – Я потом разберусь с вами».

Сидим мы с Колькой Сагайдаком, ждем, что будет. Вваливаются вооруженные, ведут двух махновцев. Каретник с пистолетом.

«А ну, ложись».

Махновцы ложатся на пол. И при нас шомполами били их: они грабили. Мы в ужасе – думаем, сейчас и нас будут шомполами бить, как этих. Они молчат – ни звука. Боялись, что, если закричат, – убьют.

Нас до утра оставили. Кое-как переспали на стульях – приходит Каретник: «Подь сюда! Ваше лицо мне понравилось. Идите!» Так и не знаю, почему нас отпустил. То ли в самом деле мы ему приглянулись, то ли Полонский за нас заступился. Он связан был с партийной организацией, практически ею руководил, но глубоко был законспирирован. Мы не знали, что он большевик.

Потом, когда мы уже с Полонским познакомились, он сказал: ну что ж, товарищи. Надо легализоваться. Левка Задов не дурак же все-таки? Он же видит, что в «Социалистическую молодежь по борьбе с контрреволюцией» седобородые ходят. Идите к Волину.

И Семен Новицкий, который потом попал в Реввоенсовет махновцев, пошел к Волину. Волин был умный человек, он прекрасно понимал, что нужно всех собирать для борьбы против общего врага. Он ничего не имел против, чтобы мы легализировались как коммунисты. Волин же нас пригласил в театр на выступление Махно. Театр Войтоловского – его сейчас нет, – на набережной реки Московки был отделан в мавританском стиле. Собралось народу очень много. Сидел Волин в президиуме, сидел командир корпуса Удовиченко. Из «Набата» кто-то, не помню сейчас, ну и Махно, конечно. Патлатый. Ходил тогда в офицерской голубой шинели и полупапахе с красным верхом. Он выступал. Не помню уже точно, о чем он говорил. Меня теоретические вопросы не очень тогда волновали. Но хорошо говорил, нервно. О защите права крестьян на землю. О том, что эсеры, кадеты, большевики – политические шарлатаны. О том, что анархисты не предадут крестьян.

А на следующий день вышла газета махновская «Путь к свободе». И на первой странице был напечатан гимн махновцев. Я помню его хорошо:

Споете же, братцы, под громы ударов, Под взрывы и пули, под пламя пожаров, Под знаменем черным гигантской борьбы, Под звуки «Набата» призывной трубы... Их много, без

счета судьбою забитых, Замученных в тюрьмах, на плахе убитых, Их много, о правда, служивших тебе И павших в геройской неравной борьбе... Такая была у них песня...

Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть, насколько образный ряд махновского гимна близок патетике «Интернационала» и «Варшавянки». И все же.

Махновский гимн – это гимн обреченных. Служители правды, идущие под черным знаменем, не стяжают себе нового мира, до основания разрушив старый. На это нет и намека. Но есть намек другого рода – намек на неизбежность гибели в «геройской неравной борьбе»...

---

Версия #1

██████████ ██████████ создал 2 апреля 2025 11:17:40

██████████ ██████████ обновил 2 апреля 2025 11:17:56